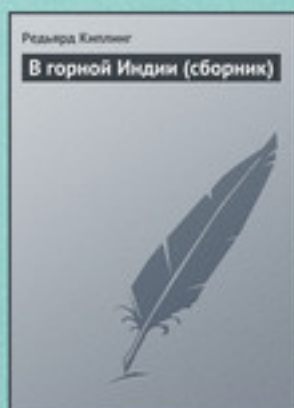


Редьярд Киплинг

Заброшенный



*Часть сборника
В горной Индии (сборник)*



Редьярд Киплинг

Заброшенный

«Public Domain»

1888

Киплинг Р. Д.

Заброшенный / Р. Д. Киплинг — «Public Domain», 1888

«Неблагодарно воспитывать мальчика, как говорится, «под крылышком у родителей», если ему предстоит впоследствии жить вдали от семьи и самому пробивать себе дорогу. Разве одному из тысячи не придётся из-за этого испытывать массу совершенно излишних неприятностей, и следствием такого незнания настоящих жизненных условий может быть даже полное отчаяние...»

© Киплинг Р. Д., 1888

© Public Domain, 1888

Редьярд Киплинг Заброшенный

* * *

Неблагоразумно воспитывать мальчика, как говорится, «под крылышком у родителей», если ему предстоит впоследствии жить вдали от семьи и самому пробивать себе дорогу. Разве одному из тысячи не придётся из-за этого испытывать массу совершенно излишних неприятностей, и следствием такого незнания настоящих жизненных условий может быть даже полное отчаяние.

Предоставьте щенку жевать кусок мыла у вашей ванны или лизать только что вычищенный сапог. Он будет лизать и жевать, пока не убедится, что от ваксы и душистого мыла ему делается очень скверно, после чего придёт к заключению, что вакса и мыло – вещи вредные. А любая большая дворовая собака покажет ему все неблагоприятные привычки вцепляться в уши больших псов.

Все это щенок запоминает, и к шести месяцам вступает в жизнь благовоспитанным зверьком, умеющим укрощать свои аппетиты. Подумайте сами, сколько трепок и болезней ему пришлось бы вынести впоследствии, если бы он не познакомился в детстве с мылом, сапогами и большими собаками и вздумал бы, повзрослев, когда у него уже окрепли зубы, испытать их силу. Применим это соображение к «воспитанию под крылышком» и посмотрим, какие получатся результаты. Сравнение, может быть, и не особенно изящное, но оно лучшее из двух зол.

Жил-был мальчик, выросший «под крылышком у родителей», и такой способ воспитания убил его. Он жил с родителями со дня своего рождения до часа, когда поступил, одним из первых по экзамену, в Сандхерстскую военную школу. Он был прекрасно обучен гувернёром всему, что требуется для получения хороших баллов, и про него говорили, что «он ни единого раза в жизни не огорчил ничем своих родителей». Знания, почерпнутые им в Сандхерсте, не выходили за пределы обычной рутины. Он стал осматриваться, и «мыло и вакса» пришлись ему по вкусу. Он поел их и вышел из Сандхерста, но уже не с такими высокими баллами, с какими поступил. Произошёл «антракт» и сцена с домашними, ожидавшими от него большего. Проживши год вдали от мира в каком-то третьестепенном резервном батальоне, где все низшие чины – дети, а высшие чины – старые бабы, он наконец отправился в Индию, где уже очутился без родительской поддержки и не мог ни на кого опереться в случае затруднения, кроме как на самого себя.

Но Индия, прежде всего, такая страна, где не следует относиться чересчур серьёзно к вещам, за исключением полуденного солнца. Слишком серьёзная работа и энергия убивают человека так же наверняка, как полное собрание пороков и постоянное пьянство. Лёгкое ухаживание не имеет значения, потому что переводы на другое место часты, и или он, или она уезжают со станции, чтобы никогда более не вернуться. Добросовестная работа в расчёт не принимается, так как о человеке судят по тому, что знают о нем дурного, а если он делает что-нибудь хорошее, то это приписывается другому. Плохая работа тоже не имеет значения, потому что другие люди делают хуже, и нигде плохие работники не удерживаются так долго, как в Индии. Развлечения не имеют значения, потому что, как только одно из них оканчивается, вы опять должны повторять его, и большинство увеселений состоит только в выигрывании денег у другого. И болезнь не имеет значения, потому что там она – дело обычное, а когда вы умрёте, другой человек займёт вашу должность и место в течение восьми часов между смертью и похоронами. На все смотрят легко, за исключением отпусков домой и получения жалованья, и то только потому, что они даются скупо. Это – вялая страна, где все работают несовершен-

ными орудиями. И самая умная вещь, какую можно сделать, – это постараться вырваться куда-нибудь в такое место, где удовольствие действительно удовольствие и где добрая слава стоит того, кто ею обладает.

Но наш мальчик, приехав в горы, – старая уже это история, как сами горы – ко всему стал относиться серьёзно. Он был недурён, и его баловали. Он баловство принимал также серьёзно и волновался из-за женщин, ради свидания с которыми не стоило бы седлать и пони. Новая жизнь на свободе в Индии нравилась ему. Привлекательными кажутся сначала, с точки зрения субалтерна, все эти гарцевания верхом, офицерские собрания, танцевальные вечера и т. п. Он попробовал всего этого, как щенок пробует мыло. Только опыт пришлось проводить поздно, когда все зубы уже выросли. У него не было чувства меры – совсем как у щенка – и он не понимал, почему к нему не относились с таким же почтением, какое он встречал под отеческим кровом. Это его обижало.

Он начал ссориться с другими молодыми людьми, сохранял в душе горечь, не мог забыть этих ссор, и они раздражали его. Ему нравилось играть в вист, в джимкана и т. п., вещи, которыми офицеры развлекаются после службы, но и ко всему этому он относился так же серьёзно, как относился серьёзно и к похмелью после выпивки. Он проигрывал в вист и джимкана потому, что они были для него внове.

К проигрышу он относился также серьёзно и потратил, например, массу энергии и интереса в игре на бегах местных пони, запряжённых в экка, ставя по два золотых могура, будто то было дерби. Отчасти все это происходило вследствие неопытности – вроде войны щенка с углом ковра, а отчасти – от растерянности, которую он ощущал, попав из тихой семейной жизни в сравнительно более светлую и оживлённую среду. Никто не предупреждал его насчёт мыла и ваксы, так как обычно считается, что обыкновенный человек относится к подобным вещам с известной осторожностью. Жаль было смотреть, как мальчик надрывался, напоминая холёного жеребчика, который падает и ранит себя, вырвавшись у наездника.

Такое необузданное увлечение увеселениями, ради которых не стоило бы даже пошевелить пальцем, а тем менее надрываться, тянулось целых полгода – целое холодное время года, а затем мы начали надеяться, что жара, сознание утраты денег и здоровья и ослабевшие силы научат мальчика умеренности, и он остановится. В девяносто девяти случаях из ста так и бывает, и вы можете наблюдать это на всех индийских «станциях». Но в данном случае вышло иначе, потому что мальчик был впечатлительный и принимал вещи всерьёз, как я уже повторял несколько раз. Мы, конечно, не могли не знать, насколько его неумеренность отражалась на нем лично. По-видимому, не было ничего такого, что могло бы причинить ему особенные душевные страдания или выходило за пределы обычного. Может быть, его денежные дела были в некотором расстройстве и он нуждался в заботливом внимательном уходе, но память о его проступках изгладилась бы сама собой в один жаркий сезон, а банкир помог бы ему выпутаться из финансовых затруднений. Однако он, по-видимому, имел другую точку зрения и счёл себя погибшим безвозвратно. Когда холодное время кончилось, полковник сделал мальчику строгое внушение; он после этого окончательно пал духом, хотя это была самая обычная полковничья «головомойка».

Последующее служит любопытным примером того, как мы все связаны друг с другом и ответственны один за другого. Окончательный смертельный поворот в сознании мальчика совершился благодаря замечанию женщины. Нет надобности повторять его – это просто было несколько жестоких слов, брошенных мимоходом, сказанных необдуманно и заставивших его вспыхнуть до корней волос. Он никуда не показывался целых три дня, а затем взял на двое суток отпуск, чтобы отправиться на охоту возле дачи инженера-гидравлика на канале, милях в тридцати от станции. Он получил разрешение уехать, и в этот вечер был в собрании шумливее и придирчивее обыкновенного. Он говорил, что едет охотиться за «крупной дичью», и отпра-

вился в половине десятого в экка – местной двуколке. Куропаток – единственную дичь, которая водилась вокруг дома инженера, – нельзя назвать крупной дичью, и поэтому все смеялись.

На следующий день один майор, вернувшийся из краткосрочного отпуска, услышал, что мальчик отправился на охоту за «крупной дичью». Майор принимал участие в молодом человеке и уже не раз пытался образумить его. Услышав о предполагавшейся экспедиции, майор нахмурился и отправился в комнату молодого человека, где перерыл его вещи.

Выйдя оттуда, он застал меня как раз, когда я отдал свою карточку в офицерской столовой. Кроме нас, в передней не было никого.

Майор сказал:

– Мальчик отправился на охоту. Разве человек ходит на куропаток с револьвером и письменным прибором?

Я понял, что у него на уме, и ответил:

– Пустяки, майор!

Он возразил:

– Пустяки или не пустяки – я сейчас же отправлюсь на канал. Я сильно беспокоюсь. Подумав минуту, он прибавил: – Способны вы солгать?

– Вам лучше знать, – ответил я. – Такова моя профессия.

– Прекрасно, поедemте со мной сейчас же в экке к каналу на охоту за чёрными козами. Наденьте шикар (китель) и захватите ружьё.

Майор был человек положительный, и я знал, что он не станет отдавать приказаний попусту. Поэтому я повиновался и, вернувшись, увидел майора, укладывавшего в экку ружья и провизию – одним словом, все, что было нужно для охотничьей экспедиции.

Он отпустил возницу и взял вожжи сам. Проезжая мимо станции, мы двигались шагом, но, когда выехали на пыльную дорогу, майор погнал пони. Для туземной лошади нет ничего невозможного в критической ситуации. Мы пролетели тридцать миль меньше чем за три часа, но бедное животное еле держалось на ногах.

Дорогой я было спросил:

– Почему мы так отчаянно спешим, майор?

Он ответил спокойно:

– Мальчик был один четырнадцать часов! Говорю вам, у меня на душе беспокойно.

Его тревога передалась также мне, и я помогал погонять пони.

Когда мы доехали до домика инженера, заведующего каналом, майор позвал денщика молодого человека, но ответа не последовало.

Мы подошли к дому и звали мальчика по имени. Никто не отзывался.

– Он на охоте, – высказал я предположение.

В эту минуту я увидел в одно из окон горящую маленькую лампу с колпаком от ветра. Было четыре часа пополудни. Мы оба вышли на веранду, сдерживая дыхание, чтобы не проронить ни звука, и услышали в комнате «брр-брр-брр» – жужжание массы мух. Майор не сказал ничего, но снял шлем, и мы вошли неслышными шагами.

Мальчик лежал мёртвый на постели посреди пустой, выбеленной известью комнаты. Он раздробил себе голову выстрелом из револьвера. Ящики для ружей не были раскрыты, и постельные принадлежности не распакованы, а на столе стоял ящик с письменными принадлежностями и фотографическими карточками. Он ушёл умирать в нору, как отравленная крыса.

Майор тихо проговорил:

– Бедный мальчик! Бедняга! – Потом он отвернулся от постели и обратился ко мне:

– Ваша помощь нужна мне в этом деле.

Зная, что мальчик умер от собственной руки, я сразу догадался, в чем должна заключаться помощь, поэтому направился к столу, взял стул, зажёл сигару и начал просматривать содержимое письменного ящика. Майор смотрел мне через плечо, повторяя про себя:

– Опоздали! Словно крыса в норе! Бедняга!

Мальчик, вероятно, провёл половину ночи за письмами к домашним, к полковнику, к одной девушке на родине, а кончив все, покончил и с собой, так как, очевидно, смерть последовала задолго до нашего приезда.

Я прочёл все, написанное мальчиком, и передавал каждый лист майору.

Из этих бумаг мы увидели, как серьёзно молодой человек относился ко всему. Он писал о «несчастье, которое не в состоянии вынести», о «неизгладимом позоре», о «преступном безумстве», «потраченной без пользы жизни» и т. п. Затем в письме к отцу и матери заключались частные подробности, слишком священные, чтобы их можно было коснуться в печати. Письмо к знакомой девушке в Англии было самое трогательное, и у меня подступила к горлу судорога, когда я читал его. Майор даже не пытался скрыть наворачнувшихся слез. Я почувствовал к нему уважение за это. Он читал, покачиваясь, и попросту плакал, как женщина, не пытаясь сдержаться. Так ужасны, безнадежны и трогательны были письма. Мы забыли все безумства мальчика и только думали о бедняге, лежавшем без дыхания на постели, и об исписанных листках в наших руках. Невозможно было отправить эти письма по назначению. Они разбили бы сердце отца и убили бы мать, убив в ней предварительно веру в сына.

Наконец, майор вытер глаза, говоря:

– Нечего сказать, приятный сюрприз для семьи! Что нам делать?

Зная, зачем майор захватил меня, я ответил:

– Он умер от холеры. Мы были при нем. Мы не можем ограничиться полумерами. Пойдёмте.

Началась одна из самых мрачно-комических сцен, в какой мне когда-либо приходилось принимать участие, – составление длинной письменной лжи, подкреплённой фактами для успокоения родных мальчика. Я набросал общую схему письма, а майор вставлял местами подробности, в то же время собирая все написанное мальчиком и сжигая в камине. Был жаркий тихий вечер, когда мы начали, и лампа горела плохо. Наконец, я справился со своей задачей, к своему удовлетворению, выставив мальчика образцом всех добродетелей, любимцем всего полка, офицером, который мог рассчитывать на блестящую карьеру, и т. д. Я описал, как мы ухаживали за ним во время болезни – вы понимаете, что приходилось лгать так лгать, – и как он тихо скончался. Слезы подступали у меня к горлу, когда я подумал о беднягах, которые станут читать мою писанину. Затем я засмеялся над всей необычностью этой выдумки. Всклипывания слились со смехом, и майор заявил, что обоим надо чего-нибудь выпить.

Мне страшно выговорить, сколько виски мы выпили, прежде чем закончили письмо; а между тем это не оказало на нас ни малейшего влияния. Затем мы взяли часы, медальон и кольца умершего.

Наконец, майор сказал:

– Надо послать прядь волос. Женщины ценят это.

Однако возникла причина, не позволившая нам найти пряди, которую бы мы могли послать. К счастью, мальчик был брюнет, так же как и майор. Я отрезал ножом у последнего прядь волос над виском и положил в приготовленный пакет. Опять я поперхнулся, и мне пришлось остановиться. Майор чувствовал себя не лучше моего, а между тем мы знали, что ещё самое худшее – впереди.

Пакет с фотографиями, медальоном, кольцом, письмом и прядью волос был запечатан сургучом мальчика и его печатью.

Тогда майор сказал:

– Ради Бога, уйдём отсюда, из этой комнаты, и поразмыслим.

Мы вышли из дому и целый час ходили по берегу канала, закусывая привезённой провизией, пока не взошла луна. Теперь я знаю, как должен себя чувствовать убийца! Наконец, мы принудили себя вернуться в комнату, где горела лампа и лежала «та, другая вещь», и принялись за последнее дело. Я не стану описывать, что мы делали: это слишком ужасно. После того как сожгли постель, мы бросили пепел в канал; то же сделали и с находившимися в комнате циновками. Потом я пошёл в деревню и раздобыл две большие лопаты – мы не желали, чтобы нам помогали крестьяне, а майор занялся... прочим. Нам понадобилось целых четыре часа, чтобы вырыть могилу. Во время работы мы задали себе вопрос, не следует ли прочесть все, что у нас в памяти из заупокойного богослужения, и решили, что прочтём «Отче наш» с прибавлением краткой, сочинённой нами самими, молитвы за упокой души умершего. После этого мы закопали могилу и вернулись на веранду, но не в дом, чтобы поспать. Мы устали до смерти.

Проснувшись утром, майор сказал недовольным тоном:

– Нам нельзя уехать раньше завтрашнего дня: надо ему дать время умереть прилично. Помните, он умер сегодня утром на заре. Это покажется естественнее.

Вероятно, майор не спал всю ночь, придумывая.

– Почему же мы не привезли тело в лагерь? – спросил я.

– Народ попрятался, когда узнал, что это холера, а эка уехала, – ответил он, подумав минуту.

Это было совершенно верно: мы совсем забыли о пони, запряжённом в двуколку, и он преспокойно убежал домой.

Так мы провели весь этот душливый день, вдвоём на даче инженера, повторяя рассказ о смерти мальчика, чтобы убедиться, что в нем нет слабого пункта. Под вечер зашёл туземец, но мы сказали ему, что сахиб умер от холеры, и он убежал. Когда стали сгущаться сумерки, майор высказал мне свои опасения относительно мальчика и его самоубийства, так что у меня волосы встали на голове дыбом. Он вспомнил, как сам в дни юности, будучи новичком в стране, чуть было однажды не спустился в эту же «долину теней», как мальчик. Поэтому он понимал, что творилось в бедной перебудораженной голове молодого человека. Он так же говорил, что молодёжь в минуту раскаяния склонна считать свои проступки более серьёзными и неизгладимыми, чем они есть на самом деле. Мы проговорили весь вечер, доискиваясь причины смерти мальчика. Как только луна взошла и покойник – как то должно было совершиться по выдуманному рассказу – был похоронен, мы направились в лагерь, куда пришли после двенадцатичасовой ходьбы, в шесть часов утра. Но, несмотря на свою смертельную усталость, мы не забыли зайти в комнату мальчика и вложить револьвер со всеми патронами в футляр, а также поставить письменные принадлежности на стол. Потом мы отправились к полковнику и доложили ему о смерти, чувствуя себя, больше чем когда-либо, убийцами. Наконец, мы улеглись и проспали целые сутки.

Рассказу верили, пока было нужно, потому что не прошло и двух недель, как все позабыли о мальчике. Однако находились люди, ставившие в вину полковнику, что он не устроил полковых похорон. Самой же грустной вещью было получение мной и майором письма от матери мальчика – письма, всего испещрённого чернильными потёками. Она трогательно благодарила нас за доброту и говорила, что до смерти будет нашей должницей.

В сущности, она была должницей, но не в том смысле, как подразумевала это.